

# Там, нигде, за его пределом

*(Окончание. Начало на 1-й стр.)*

В постсоветскую эпоху Бродского стали воспринимать как гражданина мира, парящего в безвоздушном пространстве поверх культур и традиций, чуждого низкой социальности, свободного от плена времени. И для этого тоже имелись все основания. Нам показывали телефильмы, снятые его восхищенными почитателями: Париж, Венеция, Нью-Йорк, далее везде. Толпа финских любителей поэзии. Библиотека Конгресса. Женевский форум... Охотно цитировались его провокационные слова о поэте, существующем в колбочке языка...

Маска страстного антисоветчика незаметно сменилась образом равнодушного космополита. Статус демократического борца за справедливость — статусом элитарного скептика. Трагикомической развязкой этого сюжета стало информационное сообщение о смерти поэта (1996 год — а кажется, уже вечность пролегла между нами),

озвученное самым престижным российским телеканалом: «Сегодня мировые информационные агентства передали скорбную весть о кончине Джозефа Бродского». Что ж, гражданин мира и должен носить английское имя...

И как-то забывалось за всем этим, что гражданской лирикой, уязвляющей ненавистную власть, Бродский практически не баловался; что однажды, отказываясь от очередной поездки в Париж, он язвительно заметил: к чему это все? Ну, прийти к Нотр-Даму, убедиться, что он стоит на прежнем месте, затем прогуляться к Вандомской площади, ага, все именно так, как сказано в путеводителе... Открытое мировое пространство вовсе не манило его; зато на карте имелись точки неизменного притяжения: Петербург (классически известная строка «На Васильевский остров я приду умирать...»), Венеция, Рим, Нью-Йорк. Какая бы то ни было привязанность космополиту противопоставлена;

влюбленность в один какой-то город — исключена.

На самом деле Бродский не был антисоветчиком в той же мере и по той же причине, по какой не был и надмирным гением. Если и имелась в его поведении какая-то «жизнестроительная» тактика, то это тактика самосохранения частного человека в чересчур обобществленной жизни. Он не враждовал с советской властью, он просто на нее чихал. Если бы ему сказали, что Шолохов его соименинник, это его, возможно, позабавило бы, да и только: он не противопоставлял себя советскому истеблишменту, он просто жил так, как будто этого истеблишмента в природе не существует.

В 1970-е ему важнее было сохранить верность своему неповторимому, накатывающему волнами, протяженному ритму, чем верность политическим взглядам, сколь угодно прогрессивным: «Там, нигде, за его пределом/ — черным, бесцветным, возможно белым —/ есть какая-то вещь, предмет./ Может быть,

тело. В эпоху треня/ скорость света есть скорость зренья;/ даже тогда, когда света нет». В 1980-е и первой половине 90-х привычная среда обитания (венецианские кафе, нью-йоркская суэта) имела для него куда большее значение, чем новизна впечатлений.

Недаром сквозь все культурные наслоения в поэзии Бродского прорастают интонации самого частного (и самого скорбного) из всех русских лириков, Евгения Абрамовича Баратынского. Не учить, не разоблачать, не поглядывать на все свысока, а просто жить — так, как хочется, там, где хочется, ради тех, кто по-настоящему близок. «Твой Новый Год по темно-синей/ волне среди моря городского,/ плывет в тоске необъяснимой,/ как будто жизнь начнется снова,/ как будто будут свет и слава,/ удачный день и вдоволь хлеба,/ как будто жизнь качнется вправо,/ качнувшись влево».

Именно в этом — формула судьбы Иосифа Бродского и тайна его литературной удачи.



10 декабря 1987 года. Иосиф Бродский получает Нобелевскую премию в области литературы

Известия - 2000. - 24 мая. - с. 10.